

А. И.
КУПРИН

Избранное



Александр Иванович Куприн

Купол св. Исаакия Далматского

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2472095

Аннотация

«Осень 1919 года была очень хороша на севере России. Особенно глубоко и сладко-грустно чувствовалась ее прохладная прелесть в скромной тишине патриархальной Гатчины. Здесь каждая улица обсажена двумя рядами старых густых берез, а длинная тенистая Баговутовская улица, пролегающая через весь посад, даже четырьмя...»

Содержание

I. Добрая осень	4
II. Красная Армия	11
III. Смерть и радость	17
IV. Яша	25
V. Тяжелая артиллерия	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Куприн Александр Купол Св. Исаакия Далматского

I. Хорошая осень

Осень 1919 года была очень хороша на севере России. Особенно глубоко и сладко-грустно чувствовалась ее прохладная прелесть в скромной тишине патриархальной Гатчины. Здесь каждая улица обсажена двумя рядами старых густых берез, а длинная тенистая Баговутовская улица¹, протегающая через весь посад, даже четыремя.

Весною вся Гатчина нежно зеленеет первыми блестящими листочками сквозных берез и пахнет терпким веселым смолистым духом. Осенью же она одета в пышные царственные уборы лимонных, янтарных, золотых и багряных красок, а увядающая листва белостволых берез благоухает, как крепкое старое драгоценное вино.

Урожай был обилен в этом году по всей России. (Чудесен он был и в 20-м году. Мне непостижимо, как это не хватило остатков хлеба на 21-й год – год ужасного голода.) Я

¹ Баговутовская – ул. К. Маркса с 1922 г.

собственноручно снял с моего огорода² 36 пудов картофеля в огромных бело-розовых клубнях, вырыл много ядерной петровской репы, египетской круглой свеклы, остро и дико пахнувшего сельдерея, репчатого лука, красной толстой упругой грачовской моркови и крупного белого ребристого чеснока – этого верного противощинготного средства. Оставались необранными лишь слабенькие запоздалые корешки моркови, которых я не трогал, дожидаясь пока они нальются и потолстеют.

Весь мой огород был размером в 250 квадратных сажен, но по совести могу сказать, потрудился я над ним весьма усердно, даже, пожалуй, сверх сил.

Зимой ходил с салазками и совочком – подбирал навоз. Мало толку было в этом жалком, сухом навозе – его даже воробьи не клевали. Помню, однажды, когда я этим занимался, проходила мимо зловредная старушенция, остановилась, поглядела и зашипела на меня: «Попили нашей кровушки. Будя». (Экий идиотский лозунг выбросила революция.) Собираю очень тщательно зимою золу и пепел из печек. Достал всякими правдами и неправдами несколько горстей супер-

² «Зеленый дом» А. И. Куприна, уничтоженный во время Великой Отечественной войны, находился на ул. Елизаветинской (ул. Достоевского с 1922 г.), наискосок через перекресток от усадьбы Клодницкого. В доме было пять комнат и просторная застекленная веранда. Выкрашен он был в зеленый цвет. При доме был небольшой сад и двор с каменными и деревянными службами. На пятиэтажке № 19 по ул. Достоевского, расположенной на месте бывшего дома Куприна, в советское время установлена мемориальная доска.

фосфата и сушеной бычьей крови. Пережигал под плитой всякие косточки и толлок их в порошок. Лазил на городскую колокольню и набрал там мешок голубинового помета (сами-то голуби давно покинули наш посад, вместе с воронами, галками и мышами, не находя в нем для себя пропитания).

Тогда все, кто могли, занимались огородным хозяйством, а те, кто не могли, воровали овощи у соседей.

Труднее всего было приготовить землю под гряды. Мне помог милый Фома Хамилейнен из Пижмы. Он мне вспахал и взборонил землю. Я за это подарил ему довольно новую фрачную пару (что мог сделать мой честный, добрый чухонец с этой дурацкой одеждой?) и собственноручно выкопал для него из грунта 12 шестилетних яблонь. Я их купил три года тому назад в питомнике Регеля Кесельринга. Сам посадил с любовью и ухаживал за ними с нежностью. Раньше, щадя их детский возраст, я им не давал цвести, обрывал цветения, но в этом году думал разрешить им первую роскошь и радость материнства, оставив по две-три яблочных завязи на каждой. Очень жалко было расставаться с яблоньками, но трезвый будничный картофель действительно требовал для себя широкого места.

И ведь, как на грех, на соблазн, выдалась такая теплая, такая чудесная осень! На оставшихся у меня по границе огорода шести яблоньках-десятилетках, поздних сортов, плоды никогда еще не созревали: их мы срывали перед морозами, закутывали в бумагу и прятали в шкаф до Рождества.

Теперь же на всех шести налились и поспели такие полные, крепкие, нарядные, безупречные яблоки, что хоть прямо на выставку.

А цветов в этом году мне так и не довелось посадить. Побывал раннею весною в двадцати присутственных местах Гатчины и Петрограда на предмет получения разрешения на отпуск мне семян из социализированного магазина, потратил уйму денег, времени и нервов на проезды и хлопоты, ничего не смог добиться и с озлоблением плюнул.

Простите, что я так долго остановился на этом скучном предмете и отрываюсь от него с трудом. Мне совсем не жалко погибшей для меня безвозвратно в России собственности: дома, земли, обстановки, мебели, ковров, пианино, библиотеки, картин, уюта и прочих мелочей. Еще в ту пору я понял тщету и малое значение вещей сравнительно с великой ценностью простого ржаного хлеба. Без малейшего чувства сожаления следил я за тем, как исчезали в руках мешочников зеркала, меха, портьеры, одеяла, диваны, шкафы, часы и прочая рухлядь. Деньги тогда даже не стоили той скверной бумаги, на которой они печатались.

Но, по правде говоря, я бы очень хотел, чтобы в будущей, спокойной и здоровой России был воздвигнут скромный общественный монумент не кому иному, как «мешочнику». В пору пайковых жмыхов и пайковой клюквы это он, мешочник, провозил через громадные расстояния пищевые продукты, висая на вагонных площадках, оседывая буфера

или распластавшись на крыше теплушки; всегда под угрозой ограбления или расстрела. Конечно, не ему, а времени было суждено поправить хоть немного экономический кризис. Но кто же из великомучеников того времени не знает из горького опыта, как дорог и решителен для умирающей жизни был тогда месяц, неделя, день, порою даже час подтопки организма временной сытностью, отдыха. Я мог бы назвать много драгоценных для нашей родины людей, чье нынешнее существование обязано тяжелой предприимчивой жадности мешочника. Памятник ему!

Повторяю, мне не жаль собственности. Но мой малый огородишко, мои яблони, мой крошечный благоуханный цветник, моя клубника «Виктория» и парниковые дыни-кantalупы «Женни Линд» – вспоминаю о них, и в сердце у меня острая горечь.

Здесь была прелесть чистого, простого чудесного творчества. Какая радость устлать лучинную коробку липовым листом, уложить на дно правильными рядами большие ягоды клубники, опять перестлать листьями, опять уложить ряд и весь этот пышный, темно-красный душистый дар земли отослать в подарок соседу! Какая невинная радость – точно материнская.

Так, впрочем, бывало раньше. К середине 19-го года мы все, обыватели, незаметно впадали в тихое равнодушие, в усталую сонливость. Умирали не от голода, а от постоянного недоедания. Смотришь, бывало, в трамвае примостился

в уголке утлый преждевременный старичок и тихо заснул с покорной улыбкой на иссохших губах. Станция. Время выходить. Подходит к нему кондукторша, а он мертв. Так мы и засыпали на полпути у стен домов, на скамеечках в скверах.

Как я проклинал тогда этот корнеплод, этот чертов клубень – картофель. Бывало, нароешь его целое ведро и отнесешь для просушки на чердак. А потом сидишь на крыльце, ловишь разинутым ртом воздух, как рыба на берегу, глаза косят, и все идет кругом от скверного головокружения, а под подбородком вздувается огромная гуля: нервы никуда не годятся.

Пропало удовольствие еды. Стало все равно, что есть: лишь бы не царапало язык и не втыкалось занозами в небо и десны. Всеобщее ослабление организмов дошло до того, что люди непроизвольно переставали владеть своими физическими отправлениями. Всякая сопротивляемость, гордость, смех и улыбка – совсем исчезли. В 18-м году еще держались малые ячейки, спаянные дружбой, доверием, взаимной поддержкой и заботой, но теперь и они распадались.

Днем гатчинские улицы бывали совершенно пусты: точно всеобщий мор пронесся по городу. А ночи были страшны. Лежишь без сна. Тишина и темнота, как в могиле. И вдруг одиночный выстрел. Кто стрелял? Не солдат ли, соскучившись на посту, поставил прицел и пальнул в далекое еле освещенное окошко? Или раздадутся подряд пять отдаленных глухих залпов, а затем минутка молчания и снова пять

уже одиночных, слабых выстрелов. Кого расстреляли?

Так отходили мы в предсмертную летаргию. Победоносное наступление С[еверо]-З[ападной] Армии было подобно для нас разряду электрической машины. Оно гальванизировало человеческие полутрупы в Петербурге, во всех его пригородах и дачных поселках. Пробудившиеся сердца загорелись сладкими надеждами и радостными упованиями. Тела окрепли, и души вновь обрели энергию и упругость. Я до сих пор не устаю спрашивать об этом петербуржцев того времени. Все они, все без исключения, говорят о том восторге, с которым они ждали наступления белых на столицу. Не было дома, где бы не молились за освободителей и где бы не держали в запасе кирпичи, кипятки и керосин на головы поработителям. А если говорят противное, то говорят сознательную, святую партийную ложь.

II. Красная Армия

Мы все были до смешного не осведомлены о внешних событиях; не только мы, уединенные гатчинцы, но и жители Петербурга. В советских газетах нельзя было выудить ни словечка правды. Ничего мы не знали ни об Алексееве, ни о Корнилове, ни об операциях Деникина, ни о Колчаке. Помню, кто-то принес весть о взятии Харькова и Курска, но этому не поверили. Слышали порою с севера далекую орудийную пальбу. Нас уверяли, что это флот занимается учебной стрельбой. В мае канонада раздавалась с северо-запада и стала гораздо явственнее. Но тогда некого было спрашивать, да и было лень. Только полгода спустя, в октябре, я узнал, что это шло первое (неудачное) наступление С.-З. Армии на Красную Горку. Впрочем, в том же мае мне рассказывал один чухонец из Волосова следующее: к ним в деревню приехали однажды верховые люди в военной форме, с офицерскими погонами. Попросили дать молока, перед едой перекрестились на красный угол, а когда закусили, то отблагодарили хозяев белым хлебом, ломтем сала и очень щедро – деньгами. А садясь на коней, сказали: «Ждите нас опять. Когда приедем, то сшибем большевиков, и жизнь будет, как прежде».

Я, помню, спросил недоверчиво:

– Почему знать, может быть, это были большевицкие шпи-

оны? Они теперь повсюду нюхают.

– Не снай. Може пионы, може, равда белые, – сказал чухонец.

Жить было страшно и скучно, но страх и скука были тупые, коровьи. На заборах висели правительственные плакаты, извещавшие: «Ввиду того, что в тылу Р.С.Ф.С.Р. имеются сторонники капитализма, наемники Антанты и другая белогвардейская сволочь, ведущая буржуазную пропаганду, – вменяется в обязанность всякому коммунисту: усмотрев где-либо попытку опозорения советской власти и призыв к возмущению против нее, – расправляться с виновными немедленно на месте, не обращаясь к суду». Случаи такой расправы бывали, но, надо сказать правду, – редко. Но томили беспрестанные обыски и беспричинные аресты. Мысленно смерти никто не боялся. Тогда, мне кажется, довольно было поглубже и порешительнее затаить дыхание, и готов. Пугали больше всего мучения в подвале, в ежеминутном ожидании казни.

Поэтому старались мы сидеть в своих норах тихо, как мыши, чующие близость голодного кота. Высовывали на минуту носы, понюхать воздух, и опять прятались.

Но уже в конце ноября началось в Красной Армии и среди красного начальства какое-то беспокойное шевеление.

Приехал неожиданно эшелон полка, набранного в Вятке, и остановился за чертой посада в деревянных бараках. Все они были, как на подбор, такие же долговязые и плотные,

такие же веселые и светло-рыжие, с белыми ресницами, как Шаляпин. Ладные сытые молодцы. Не знаю, по какой причине, им разрешили взять с собою по два или по три пуда муки, которую они в Гатчине охотно меняли на вещи. Мы пошли в их становище. Там было уже много народу. Меня тронуло, с каким участием расспрашивали они исхудавших, обносившихся, сморщенных жителей. Как сочувственно покачивали они головами, выразительно посвистывали на мотив: «Вот так фу-унт!» – и, сплюнув, говорили:

– Ах вы бедные, бедные. До чего вас довели. Нешто так можно?

Потом их куда-то увезли. Но эти «вятские, ребята хватские» не пропали. Во второй половине октября они почти все вернулись в Гатчину, в рядах Белой Армии, в которую они перешли дружно, всем составом, где-то под Псковом. И дрались они лихо.

Вскоре после их отхода Гатчина вдруг переполнилась нагнанной откуда-то толпой отрепанных до последней степени, жалких, изможденных, бледных красноармейских солдат. По-видимому, у них не было никакого начальства, и о дисциплине они никогда не слыхали. Они тотчас же разползлись по городу, в тщетных поисках какой-нибудь пищи. Они просили милостыни, подбирали на огородах оставшуюся склизкую капустную хряпу и случайно забытые картофелины, продавали шейные кресты и нижние рубахи, заглядывали в давно опустелые помойные ямы. Были все они крайне

удручены, запуганы и точно больны: вероятно, таким их душевным состоянием объяснялось то, что они не прибегали тогда к грабежу и насилию.

Недолго прожили они в Гатчине. Дня три. В одно ясное, прохладное утро кто-то собрал их в бесформенную группу, очень слабо напоминавшую своим видом походную колонну, и погнал дальше по Варшавскому шоссе.

Я видел это позорное зрелище, и мне хотелось плакать от злобы, жалости и бессилия: ведь как-никак, а все-таки это была русская армия. Ведь «всякий воин должен понимать свой маневр», а эти русские разнесчастные обманутые Иваны – понимали ли они хоть слабо, во имя чего их гнали на бойню?

Не оркестр шел впереди, не всадник красовался на серой лошади, и не знамя в футляре покачивало золотым острием высоко над рядами. Впереди тащилась походная кухня, разогретая на полный ход. Густой дым валил из ее трубы прямо назад и стлался низко над вооруженной ватагой, дразня ее запахом вареной капусты. О, зловещий символ!

И что это была за фантастическая, ужасная, кошмарная толпа! Согбенные старики и желтолицые чахоточные мальчуганы, хромые, в болячках, горбатые, безносые, не мывшиеся годами, в грязных тряпках, в ватных кофтах и жалких кацавейках, одна нога босиком, другая в галоше, всюду дыры и прорехи, ружья вверх и вниз штыками и иные волочатся штыками по земле. Уж не в Вяземской ли лавре собралось

это войско, которое проходило мимо нас с поднятыми носами и жадно раздувавшимися ноздрями?

На другой день мы снова слышали канонаду, на этот раз яснее, ближе и в новом направлении. Очевидно, теперь морская эскадра для своей учебной стрельбы переместилась на юго-запад от Гатчины. Но как будто в этом направлении нет моря?

К полудню этого же дня странная суматоха, какая-то загадочная беготня, тревожная возня началась во всегда пустых, безлюдных улицах Гатчины. Невиданные доселе, совсем незнакомые люди таскали взад и вперед сундуки, узлы, корзинки, чемоданы. Наехали в город окрестные мужики на пустых телегах. Бежали опрометью по мостовой какие-то испуганные рабы с вязанками соломы и с веревочными бунтами на плечах. Очевидно, кто-то переезжал или уезжал. Мне было неинтересно кто.

Но вечером мне понадобилось выйти из дома. На Соборной улице я встретился с одним чудаком. Он всегда рекомендовался густым басом, оттопыривая вбок локоть для рукопожатия и напряживая по-бычьей шею: учитель народной средней школы. Фамилии его я не знал. Он был, в сущности, неплохой малый, хотя и пил вежеть, большими флаконами, каждый в одно дыхание.

Он подошел ко мне.

– Знаете, что случилось? Все советские выезжают нынче ночью спешно в Петроград.

– Почему?

– Кто их знает? Паника. Пойдемте посмотрим.

На проспекте Павла I, на Михайловской³ и Бомбардирской⁴ улицах густо стояли груженные возы. Чего на них не было: кровати, перины, диваны, кресла, комоды, клетка с попугаем, граммофоны, цветочные горшки, детские коляски. А из домов выносили все новые и новые предметы домашнего обихода.

– Бегут! – сказал учитель. – Кстати, нет ли у вас одеколону Ралле, впрыснуть счастливый отъезд?

– К сожалению, нету. Но как вы думаете, сколько же в Гатчине проживало большевиков? Смотрите – целый скифский обоз.

Учитель подумал.

– По моему статистическому расчету, включая челядь, жен, наложниц и детей, а также местных добровольцев и осведомителей – не менее четырехсот.

Колеса сцеплялись, слышалось щелканье кнута, женские крики, лай собак, ругань, детский плач. Пахло сеном, дегтем и лошадиной мочой. Темнело. Я ушел.

Но еще долго ночью, лежа в постели, я слышал, как по избитому шоссе тархтели далекие телеги.

³ Михайловская – ул. Красная с 1922 г.

⁴ Бомбардирская – ул. М. Горького с 1922 г.

III. Смерть и радость

На другой день, в прекрасное золотое с лазурью, холодное и ароматное утро, Гатчина проснулась тревожная, боязливая и любопытная. Пошли из дома в дом слухи... Говорили, что вчера была в ударном порядке сплавлена в Петербург только лишняя мелочь. Ответственные остались на местах. Совдеп и ЧК защищены пулеметами, а вход в них для публики закрыт. Однако советские автомобили всегда держатся наготове.

Говорили, что из Петербурга пришел приказ: в случае окончательного отступления из Гатчины взорвать в ней бомбами дворец, собор, оба вокзала и все казенные здания.

Уверяли, что в Гатчину спешит из Петербурга красная тяжелая артиллерия (и эта весть оказалась верной). Но болтали и много глупостей... Выдумали шведов и англичан, уже разрушивших Кронштадт и теперь делающих высадку на Петербургской стороне. И так далее.

Пушечные выстрелы доносились теперь с юга, откуда-то из Преображенской или даже с Сиверской. Они стали так ясны, четки и выпуклы, что казалось, будто стреляют в десяти, в пяти верстах.

За последние четыре года я как-то случайно сошелся, а потом и подружился с одним из постоянных гатчинских отшельников. Это был когда-то властный и суровый редактор

очень влиятельного большого журнала. Теперь он проживал стариком на покое в гатчинской тишине и зелени; заметно присмирел и потеплел, да, в сущности, и в свою боевую пору он только носил постоянную маску строгости, а на самом деле был добрейшим человеком, только этого журнальные люди не умели раскусить. Он мне давал читать свои переводы древних писателей и особенно пленил меня Лукианом, Эпиктетом и Марком Аврелием. Он не скучал со мной, а для меня беседы с ним были всегда занимательны и поучительны. Что же? Почему так стыдно человеку признаться в том, что он всегда, даже до глубокой старости, рад пополнять недостаток знания?

Я узнал также, что С., весьма скупой на комплименты и душевные излияния, относился ко мне с большим доверием – узнал, однако, по очень печальному и тяжелому поводу и, конечно, не от него.

Два его сына – Николай и Никита – оба ушли на Великую войну. Первый, как кадровый офицер в самом начале войны, второй – охотником в конце 1916 года. Оба погибли: один от тяжелого ранения, другой от тифа, через малый промежуток времени.

В одном из первых месяцев 1917 года я получил письмо от человека, которого я не знал лично. Он был товарищем Никиты дважды: по гатчинскому реальному училищу и потом по артиллерийскому дивизиону. Меня-то он, конечно, знал. В маленьком провинциальном посаде я весь был на юру, вме-

сте с моими собаками, лошадей, медведем, обезьяной, участием во многих вечерах и концертах и кое-какими приключениями.

Он писал мне о смерти обоих братьев. О том, что лично он не решается известить об этих ужасных событиях престарелого отца, потому что сам видал его пламенную, трепетную, безумную любовь к сыновьям. В конце концов, он трогательно просил меня взять это очень сложное дело на мое разрешение, совесть и умение. Старик отец, по его словам, не раз писал Никите обо мне в тоне добром и доверчивом. Я решил промолчать. И в самом деле, что было бы лучше: убить милого, обаятельного старика жестокой правдой или оставить его в решительном чаянии и неведении?

И я молчал почти два года.

Это было нелегко. С. иногда глядел на меня такими пронзительными, спрашивающими глазами, будто догадывался, что я о чем-то важном осведомлен, но не хочу, не могу сказать.

Особенно тяжело было скрывать эту тайну в те последние дни, о которых я сейчас пишу.

Каждый день перед полуднем старик заходил за мною. Мы шли на железнодорожный Варшавский путь и долго простаивали там, прислушиваясь к пушечной все крепнущей пальбе, глядя туда, на юг, вслед убегающим, суживающимся, блестящим рельсам. Порою он говорил мечтательно:

– Дорогой друг мой. Завтра, послезавтра придут англича-

не (оказывается, и он верил в англичан) – и принесут нам свободу. А с ними придут мои Коля и Никитушка. Загорелые, басистые, в поношенных боевых мундирах, с сияющими глазами. Они принесут нам белого вкусного хлеба. И английского сала, и шоколаду. И немного виски для вас. Я буду так рад представить вам молодых героев.

И опять мы всматривались в убегающую даль, точно пригнувшись за десятки верст к запаху порохового дыма.

Не дождался бедный, славный С. – ни своих милых сыночек, ни даже прихода Северо-Западной Армии. Он умер за два дня до взятия Гатчины. А письмо Никитино товарища так и осталось лежать у меня в американском шкафчике. Тот, кто живет теперь в моем доме, если и нашел его, то, наверное, бросил в печку. А если и отнес его на рассмотрение тому, кому это надлежит, – я спокоен. Никого в живых из семьи С. (мир его праху) не осталось.

И еще одна смерть.

Рядом с нами, еще в дореволюционное время, город построил хороший двухэтажный дом для призрения старух. Большевики, завладев властью, старушек выкинули, в один счет, на улицу, а дом напихали малолетними пролетарскими детьми. Заведовать же их бытием назначили необыкновенную девицу. Она была уже немолода, со следами бывшей роковой красоты, иссохшая в дьявольском огне неудовлетворенных страстей и неудач, с кирпично-красными пятнами на скулах и черными глазами, всегда горевшими пламенем лю-

той злобы, зависти и властолюбия. Я не мог выдерживать ее пристального ненавистнического взгляда.

Как она смотрела за детьми, видно из того, что однажды вся ее детвора объелась какой-то ядовитой гадостью. Большинство захворало, одиннадцать детей умерло. Трупы было приказано доставить ночью в мертвецкую при госпитале, залить известью и вынести за город. Об этом рассказывал Федор, служивший раньше у меня дворником, философ, пьяница, безбожник, кривой на один глаз и мастер на все руки. Особенно влекло его к профессиям отчаянным. Он работал на собачьей свалке, лоя и убивая бродячих собак, служил в ассенизационном обозе, а потом поступил сторожем в мертвецкую; в промежутках же брался за всякую работу. Он-то и рассказывал мне о том, как приходили к нему ночью матери отравленных детишек и как он, Федор, выдавал опознавшим трупы этих детей, беря по сто рублей за голову. Цена небольшая, но денатурат был сравнительно не дорог.

Как-то раз к нам во двор забежала девочка из этого приюта, лет двенадцати, но вовсе карлица, в старушечьем белом платочке и с лицом печальной, больной старушки. Она рылась в помойке.

Нам удалось побороть ее одичалость, кое-как помыть ей руки и рожицу и покормить тем, что было дома. Звали ее Зина. У нас она немножко облюдовала. Пришла еще раз и еще, а потом даже привела с собою шершавого веснушчатого мальчугана, осиплого и дикого, как волчонок.

Но однажды едва она вошла в калитку, как за нею следом бешеной фурией ворвалась надзирательница. Ее страшные глаза «метали молнии». Она схватила девочку-старушку за руку и поволокла ее с той деспотической небрежностью, с какой злые дети таскают своих несчастных изуродованных кукол. И она при этом кричала на нас в таком яростном темпе, что мы не могли бы, если бы даже и хотели, вставить ни одного слова:

– Буржуи! Кровопийцы! Сволочь! Заманивают малолетних с гнусными целями! Когда вас перестреляют, паршивых сукиных детей!

И все в том же мажорном тоне.

Потом прошло с полмесяца. Как-то утром я стоял у забора. Вижу, надзирательница толкает по мостовой большую тачку, а на ней небольшой гробик, наскоро сколоченный из шелевок. Я понял, что тащила она детский трупик на кладбище, чтобы свалить в общую яму, без молитвы и церковного напутствия.

Но как раз перед моими воротами колесо тачки неудобно наскочило на камень.

От толчка живые швы гроба разошлись и из него выглянуло наружу белое платье и тоненькая желтая ручка. Надзирательница беспомощно оглядывалась по сторонам.

Я крикнул ей:

– Погодите, сейчас помогу.

Захватил в доме гвоздей, молоток и кое-как, неумело,

криво, но прочно, заколотил гроб. Вбивая последний гвоздь, спросил:

– Это не Зина?

Она ответила, точно злая сучка брехнула:

– Нет, другая стерва. Та давно подохла.

– А эту как звать?

– А черт ее знает!

И влегла в тачку всем своим испепеленным телом.

Я только подумал про себя: «Успокой, Господи, душу неизвестного младенца. Имя его Ты Сам знаешь».

Другой женщине я бы непременно помог довести гроб, хотя бы до шоссе...

Много еще было невеселого. Ведь каждый день нес с собою гадости. Но теперь во мне произошел какой-то легкий и бодрый поворот.

Пушки бухали все ближе, а с их приближением сникла с души вялая расслабляющая тоска, бессильное негодование, вечный зелено-желтый противный рабий страх. Точно вот кто-то сказал мне:

«Довольно. Все эти три года были дурным сном, жестоким испытанием, фантазией сумасшедшего. Возвращайся же к настоящей жизни. Она так же прекрасна, как и раньше, когда ты распевал ей благодарную хвалу».

Сидел я часто на чердаке, на корточках, счищал сухую грязь с картофелин и размышлял: если учесть налипшую землю да еще то, что клубни подсохнут, то 36-ти пудов не

выйдет. А все-таки по три фунта в день наберется, по фунту на персону. Это громадный запас. Только уговор умеренно делать широкие жесты.

И в то же время я пел диким радостным голосом чью-то нелепую песенку на собственный идиотский напев

Тра-ля-ля, как радостно,
На свете жить так сладостно;
И солнышко блестит живей,
Живей и веселей...

IV. Яша

Когда вошел славный Талабский полк в Гатчину – я точно не помню; знаю только, что в ночь на 15, 16 или 17 октября. Я еще подумал тогда, что дни второй половины октября часто были роковыми для России.

Накануне этого дня пушечные выстрелы с юга замолкли.

Город был в напряженном, тревожном, но бодром настроении. Все ждали чего-то необычайного и бросили всякие занятия.

Перед вечером – еще не смеркалось – я наклал в большую корзину корнеплодов, спустив их пышную ботву снаружи: вышел внушительный букет, который предназначался в презент моему старому приятелю-еврею за то, что тот изредка покупал мне в Петербурге спирт.

Да, надо сознаться, все мы пили в ту пору контрабандой, хотя запретное винокурение и грозило страшными карами, до расстрела включительно. Да и кто бы решился укорить нас?

Великий поэт и мудрец Соломон недаром приводит в своих притчах наставление царю Лемуилу, преподанное ему его матерью:

«Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям сикеру».

«Дайте сикеру погибающему и вино – огорченному ду-

шою».

«Пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании».

Когда я пришел к нему на Николаевскую⁵, все домашние сидели за чайным столом. Хозяина уже третий день не было дома, он завертелся по делам в Питере. Но его стул на привычном патриаршем месте, по старинному обычаю, оставался во все время его отсутствия незанятым: на него никому не позволяли садиться. (Впрочем, и в крепких старинных русских семьях кое-где хранится этот хороший завет.)

Был там какой-то дальний родственник, приехавший две недели назад из глухой провинции – седой, худой, панический человек. Он все хватался за голову, утомляя всех своими жалобами и страхами, ныл, как зубная боль, распространяя вокруг себя кислоту и уныние.

Был еще немного знакомый мне мальчик, Яша Файнштейн. Он носил мне тетрадки своих стихов на просмотр и оценку. Муза его была жалка, совсем безграмотна, беспомощна, ровно ничего не обещала в будущем, питалась гражданскими мотивами. Но в самом мальчике была внутренняя деликатность и какая-то сердечная порывистость.

Он блуждал по комнате, низко склонив голову и глубоко засунув руки в брючные карманы. Разговор, по-видимому, иссяк еще до меня и теперь не клеился.

Через полчаса притащился очень усталый хозяин... Уви-

⁵ Николаевская – ул. Урицкого с 1922 г.

дев мою свадебную корзину, он слегка улыбнулся, кивнул мне головою и сказал:

– Только двести (он говорил о количестве граммов). Вам следует сдачи.

Потом он стал говорить о Петербурге.

Там беспокойно и жутко. По улицам ходят усиленные патрули красноармейцев, носятся сломя головы советские автомобили.

Обыски и аресты увеличились вдвое. Говорят шепотом о близости белых частей...

Поезд, на котором он возвращался домой, доехал только до Ижоры. Станционное начальство велело всем пассажирам очистить его. Из Петербурга пришла телеграмма о совершенном прекращении железнодорожного движения и о возвращении этого поезда назад – в Петербург.

Пассажиры пошли в Гатчину пешком, узкими малоизвестными дорогами. С ними шел мой добрый партнер в преферанс и тезка – А. И. Лопатин, но, по своему всегдашнему духу противоречия, шел, не держась кучки, какими-то своими тропинками. Вдруг идущие услышали его отчаянный пронзительный вопль, на довольно далеком расстоянии. Потом в другой раз, в третий. Кое-кто побежал на голос. Но Лопатина не могли сыскать. Да и невозможно было. Путь преграждала густая вонючая трясина. Очевидно, бедный Лопатин попал в нее и его засосало.

Что-то еще незначительное вспоминал хозяин из новых

столичных впечатлений, и вдруг... молчавший доселе Яша взвился на дыбы, точно его ткнули шилом.

– Стыдно! Позор! Позор! – закричал он визгливо и взмахнул вверх руками, точно собирался лететь. – Вы! Еврей! Вы радуетесь приходу белых! Разве вам изменила память? Разве вы забыли погромы, забыли ваших замученных отцов и братьев, ваших изнасилованных сестер, жен и дочерей, поруганные могилы предков?

И пошел, и пошел кричать, потрясая кулаками. В нем было что-то эпилептическое.

С трудом его удалось успокоить. Это с особенным тактом сделала толстая, сердечная, добродушная хозяйка.

Вышли мы вместе с Яшей. Он провожал меня. На полпути он завел опять коммунистический валик. Я не возражал.

– Все вы скучаете по царю, по кнуту, по рабству. И даже вы, свободный писатель. Нет, если придет белая сволочь, я влезу на пожарную колонну и буду бичевать оттуда опричников и золотопогонников словами Иеремии. Я не раб, я честный коммунист, я горжусь этим званием.

– Убьют, Яша.

– Пустяки. В наши великие дни только негодяи боятся смерти.

– Вспомните о своих братьях евреях. Вы накличете на них грозу.

– Плевать. Нет ни еврейского, ни русского народа. Вредный вздор народ. Есть человечество, есть мировое братство,

объединенное прекрасным коммунистическим равноправием. И больше ничего! Я пойду на базар, заберусь на крышу, на самый высокий воз и с него я скажу потрясающие гневные слова!

– До свидания, Яша. Мне налево, – сказал я.

– До свидания, – ответил он мягко. Простите, что я так разволновался.

Мы расстались. Больше я его никогда не видел. Судьба подслушала его.

Я спал мало в эту ночь, но увидел прекрасный незабвенный сон.

На газетном листе я летал над Ялтой. Я управлял им совсем так, как управляют аэропланом. Я подлетал к вершине Ай-Петри. Подо мной лежал Крым, как выпуклая географическая карта. Но, огибая Ай-Петри, я коснулся об утес краем моего аппарата и ринулся вместе с ним вниз.

Проснулся. Сердце стучало, за окном серо синел рассвет.

V. Тяжелая артиллерия

Встал я, по обыкновению, часов около семи, на рассвете, обещавшем погожий солнечный день, и, пока домашние спали, потихоньку налаживал самовар.

Этому мирному искусству – не в похвалу будь мне сказано – я обучился всего год назад, однако скоро постиг, что в нем есть своя тихая, уютная прелесть.

И вот только что разгорелась у меня в самоваре лучина и я уже готовился наставить коленчатую трубу, как над домом ахнул круглый, плотный пушечный выстрел, от которого задребезжали стекла в окнах и загрохотала по полу уроненная мною труба. Это было посерьезнее недавней, отдаленной канонады.

Я снова наладил трубу, но едва лишь занялись и покраснели угли, как грянул второй выстрел. Так и продолжалась пальба весь день до вечера, с промежутками минут от пяти до пятнадцати.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.